

В.П. Авенариус



СРЕДИ ВРАГОВ

Василий Авенариус
Среди врагов

Православное издательство "Сатись"

1912

Авенариус В. П.

Среди врагов / В. П. Авенариус — Православное издательство
"Сатись", 1912

ISBN 5-7373-0241-5

За все тысячелетие существования России только однажды – в первой половине XVIII века – выделился небольшой период времени, когда государственная власть была в немецких руках. Этому периоду посвящены повести: "Бироновщина" и "Два регентства".

ISBN 5-7373-0241-5

© Авенариус В. П., 1912
© Православное издательство
"Сатись", 1912

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Предисловие | 6 |
| Глава первая | 7 |
| Глава вторая | 10 |
| Глава третья | 18 |
| Глава четвертая | 21 |
| Глава пятая | 25 |
| Глава шестая | 28 |
| Глава седьмая | 34 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 35 |

Василий Авенариус Среди врагов



*По благословению
Митрополита Санкт-Петербургского и Ладозжского
ВЛАДИМИРА*



Предисловие

Старинные книги и рукописи – страсть моя. Из заброшенной барской усадьбы знакомому мне букинисту было доставлено несколько ящиков старых книг. Отобрав все мало-мальски ценное, букинист свалил остальной хлам в угол лавки для продажи на вес. Роясь в этом хламе, я напал на объемистую тетрадь с пожелтевшими, подмоченными страницами, исписанную простым карандашом. Почерк писавшего был не совсем еще твердый, но четкий, с затейливыми завитушками, орфография же – в некотором разладе с грамматикой. Я хотел уж бросить мою находку в общую кучу, когда на глаза мне попало одно имя, сразу приковавшее мое внимание – имя Наполеона. Перелистывая страницу за страницей, я встретил еще несколько имен французских и русских, получивших громкую известность в эпоху Отечественной войны, а вчитавшись, убедился, что имею в руках подлинный дневник 1812 года. Букинист, не придавая никакого значения этой рукописи, отдал мне ее в придачу к купленным мною книгам. Выпустив из нее все лишнее, не идущее к делу, я разделил ее, для удобства читателей, на главы с соответственными заголовками и печатаю теперь этот любопытный дневник очевидца, а отчасти и участника великой войны в первоначальном, безыскусственном виде.

Глава первая

Бурсак, гувернер-француз и семейство Толбухиных. Весть о переходе Наполеона через Неман. Гувернер скрывается

Ну вот, очинил карандаш и, благое лоясь, начинаю.

Было это сегодня же, 11 июня. Хожу я этак по двору, в думы свои погруженный, а навстречу мосье Мулине:

– Здравствуйте, молодой человек! Чего нос повесили?

– Тяжело, – говорю, – на душе, – нос книзу и тянет.

– Шутите, мой друг, шутите, – говорит, – а я отлично знаю, что вас гнетет. Тоже ведь раз зеленым юнцом был.

– Ну что? Что?

– А то, что мадемуазель Барб вам опять голову намылила. Ведь так?

– Так или не так, – говорю, – вы-то, мосье Мулине, мне все равно не поможете!

– Напротив, – говорит, – у меня есть для вас верное средство: пишите дневник. Как выльется на бумагу, что на душе накипело, – сразу полегчает. На себе испытал.

– Да в доме у нас, – говорю, – и чернил-то нет.

– А еще в семинарии всяким наукам обучались! Так карандаш-то хоть найдется. Нет, без шуток, – говорит, – вы послушайтесь моего совета; этакий дневник – что горчичник: всякую боль оттянет.

Сказал и пошел своей дорогой.

А задала она мне и вправду здоровую взбучку:

– Не могу, – говорит, – глядеть на тебя, Андрюша, как ты целый день этак без дела болтаешься! Ведь ты годом меня моложе.

– Да, – говорю, – с Рождества восемнадцатый пошел.

– Что ж из тебя, наконец, выйдет!

– Ничего, – говорю, – не выйдет. – А сам вздыхаю. – Из бursы за малоуспешность удален.

– Да малоуспешность-то отчего? От лени?

– Леня, Варвара Аристарховна, раньше нас родилась! Старая еще пословица.

– И преглупая. Поискал бы ты себе каких-нибудь занятий.

– Да что же я умею? В шашки играть, голубей гонять, бумажный змей пускать...

– И неправда! Учил же ты брата Петю письму, арифметике. Но с тех пор, что взяли для него гувернера, ты от всего отбилсь, а Петю только глупостям учишь.

– Ах, Варвара Аристарховна! – говорю. – Братец ваш – дворянин; впереди ему везде дорога, а я что? Разночинец, простого дьякона сын...

– Да умом ведь тоже не обижен? Давно ли у нас Мулине; говоришь ты с ним нечасто; а вон как бойко уж болтаешь с ним по-французски.

– И акцент бесподобный, бурсацкий.

– Не акцент, а акцэнт. Способность к языкам у тебя все-таки есть. Право же, Андрюша, взялся бы ты, наконец, за ум.

Тут ее отозвали...

Однако рука у меня с непривычки отекала. На сегодня довольно. А на душе и то ведь как будто немножко отлегло, просветлело.

Июня 12. Видел ее нынче только издалека меж деревьев. В сад свой вышла свежим воздухом подышать. Своя у нее тоже забота немалая: папеньке ее, Аристарху Петровичу, опять много хуже. С утра еще за доктором посылали.

– В Толбуховку переезжать, – говорит, – ни-ни, и думать даже нечего.

Что ж, этим помещикам, что у себя в усадьбе, что в городском своем доме, не житье – малина. И здесь у них при доме какой сад-то: большущий, тенистый, с дорожками, с беседками... А дом подлинно барский: с колоннами, балконами; покои высокие, просторные. Не то, что через двор матушкина хибарка, – убогая избушка на курьих ножках! Давно уж починки просит: крыша протекает, от окон, как из трубы, дует. Да где денег взять? А помрет матушка (не дай Господи!), так и вдовья пенсия ее ухнет; останусь без гроша...

Правду говорит Варвара Аристарховна, что пора мне, пора тоже за ум взяться, свой хлеб добывать. Да чем? В приказные писцы идти, что ли, и весь век за гроши скрипеть пером?

Эхма! И стыдно-то, и смертельно скорбно. А роптать не моги. Сам же виноват. Переноси покорно.

Июня 13. Вечор горе свое в слезах растворил; а ныне вновь влетело, и от кого? От своей же родительницы, а там и от протодьякона соборного, о. Захария.

Сидим мы с матушкой за трапезой обеденной, а она на меня, знай, поглядывает и «ох!» да «ох!».

– О чем, – говорю, – маменька, вздыхаете?

А она:

– Ох, болезный ты мой! Кабы премудрости семинарские, как должно, произошел, быть бы тебе раз добрым пастырем...

– Оставьте, – говорю. – Такое мне, знать, предопределение вышло.

Отодвинул тарелку и встал из-за стола. А маменька:

– Куда ж ты, миленький, и чаю-то не попивши?

Ничего не сказал, иду к двери. А навстречу о. Захарий.

– Я, – говорит, – вас, матушка Серафима Исидоровна, пришел проведать: как во вдовстве своем живете-можете?

Маменька благодарствует за великую честь, что не забыл ее, вдовицу, просит откусать чаю стаканчик, а сама уже платок к глазам. Вопросает тут о. протодьякон, о чем, мол, печалится.

– Да вот, – говорит, и пошла – сперва про собственную хворь свою, а там и обо мне, непутящем.

Озирает он меня искоса, словно медвежонка неприрученного, головой качает.

– Да что у паренька вашего, матушка, клепки одной развее в мозгу не хватает, скудоумен?

А маменька:

– Ай, нет, он у меня мозговитый...

– Так мало, знать, в бурсе лозами уму-разуму наставляли.

Тут и сам уже не выдержал.

– Каждую субботу нам, – говорю, – секуции общие чинили.

– Да не по винам, – говорит. – И нас тоже во времена оны единожды в неделю наказывали и все во благо. В гробу одной ногой стою, а доднесь тружусь, в поте лица моего снедаю хлеб свой.

Стал было я оправдываться, а он, не дослушав:

– Все сие, – говорит, – столь глупо, что уши вянут.

Маменька опять в слезы.

– Да нельзя ли его, о. протодьякон, хоть бы в причетники соборные поставить, а на дурной конец в пономари, что ли?

– Темна вода во облацех, – говорит, – еще не время, годами не вышел. Ну да уповайте на Бога; авось, еще сподобит.

И пошел. Маменька залилась еще пуще...

Вседержитель и Сердцеведец! Просвети меня: что мне делать, шалоброду?

Июня 15. Давно уж поговаривали, что император французский Наполеон Бонапарт на нас войной собирается, что и войска-то наши к границе прусской стянуты, что сам государь наш Александр Павлович со своим штабом в Вильне пребывает. Проходили через Смоленск наши полки за полками, иные и на постой уже поставлены, а все как-то не верилось. Гром не грянет – мужик не перекрестится.

И вот грянул! От государя курьер к губернатору прискакал. 12-го числа, вишь, французы, войны даже не объявивши, реку Неман перешли. Что за вероломство! Из Вильны ко всем нашим командирам гонцы полетели с приказом – самим в бой до времени не вступать, только отбиваться. Князю же Багратиону, что командует второю армиею, да славному казацкому атаману графу Платову повелено по мере сил и возможности задерживать неприятеля, дабы дать нашим отступить в порядке; дождемся поры, так и мы из норы. А самому Наполеону Бонапарту послано требование – немедленно отозвать свои войска.

«Не положу оружия, доколе ни единого неприятельского воина не останется в царстве моем», – сказано в государственном указе.

Да подчинится ли еще таковому требованию всемирный воитель, вознесшийся превыше всех человеческих тварей?

– Ни в коем разе не подчинится! – уверяет мосье Мулине.

Но сам он весьма озабочен, за своих будто оконфужен. Ведь как он обожает своего «великого» императора!

Июля 1. Две недели дневника не раскрывал. Баталии настоящей все еще не было. Войска, что ни день, через Смоленск наш проходят; но куда – никому не ведомо.

Обыватели, кто потрусливей, за город уже собираются: береженого и Бог бережет. Толбухины же, хоть бы и хотели, не могут тронуться: Аристарх Петрович все еще так слаб, что везти его в Толбуховку за тридцать верст по проселочным дорогам и разговору быть не может: по дороге, того и гляди, Богу душу отдаст.

А с мосье Мулине что-то неладное творится: выхожу за ворота, завернул за угол, а он, гляжу, за углом с евреем торгуется,

– Далибуг, никак не можно, мусье, – говорит еврей, – сто карбованцев, ни гроша меньше. Узрели меня тут оба, к забору прижались.

– Сто рублей! – говорю. – За что он с вас, мосье Мулине, столько дерет?

– Идите, Андре, идите! – говорит. – Не ваше дело.

Ушел я; само собою, какое мне дело? Но почему он меня так испугался? Уж не замыслил ли тихомолком к своим сбежать? Недаром эта пиявка к нему присосалась; последнее, может, сбережение у него высосет...

Июля 3. Так ведь и есть: сбежал! Толбухины весьма об нем жалеют: и гувернер-то, и учитель прекрасный, и человек милый, душевный. Как бы ему только на казачью пику не напороться!

Глава вторая

Прибытие в Смоленск императора Александра I. Генерал Балашов у Наполеона. Барклай-де-Толли, князь Багратион и поручик Шмелев. «Стонет сизый голубочек». Обручились! Отъезд Толбухиных

Июля 9. Видел ныне самого государя. С раннего утра еще мы с Петей Толбухиным забрались к казенному «императорскому» дому, нарочито приготовленному для приема царского. Народу, разумеется, тьма тьмущая. Ровно в 11 слышим издали:

– Ура! Ура!

И вот показалась государева коляска. Тут уже вся толпа кругом подхватила, как один человек, и мы с Петей тоже:

– Ура-а-а!

По портретам я давно его уже знал; но самого воочию лицезреть – совсем иное. Когда нам всем милостиво этак головой закивал, от его улыбки, ласковой и грустной, сердце у меня так и запрыгало, да и заныло.

«О, кабы теперь же некий подвиг отчизнолюбия совершить!» – подумалось мне. От восторга и жалости бросился бы, право, под колеса его экипажа, если б сим чуточку хоть мог облегчить ему бремя забот о его народе, о дорогой нам всем России.



Нашему губернскому предводителю, майору Лесли, выпало счастье доложить государю, что смоленское дворянство на свой кошт ополчение в 20.000 ратников выставляет. После приема был еще смотр войскам с церемониальным маршем, а после обеда государь в Москву уже отбыл, где объявил манифест о вооружении всего государства. Но и до сей еще минуты видится мне его столь скорбная и добрая улыбка...

Июля 10. Чиновник губернаторской канцелярии рассказывал Толбухиным, а Петя потом мне пересказал, что государь еще из Вильны посылал своего генерал-адъютанта Балашова с письмом к Наполеону. И что же? Вместо того, чтобы сего парламентаря принять с подобающим почетом, четыре дня его водили от маршала к маршалу, как бы за нос, кормили всякою дрянью и тогда лишь допустили пред ясные очи своего повелителя.



В письме том говорилось, что государь не прочь, пожалуй, еще войти в соглашение о прекращении военных действий, но с тем, чтобы сперва французские войска за Неман отошли.

– А если не отойдут? – спросил Наполеон.

– Если нет, – отвечал Балашов, – то я уполномочен заявить вашему величеству, что царь ни сам уже не замолвит, ни от вас не примет ни единого слова о мире, доколе один хоть вооруженный француз будет еще в России.

– Вот как! Ну, а я что раз занял, то считаю уже своим. Так вашему царю и передайте. Я его люблю и уважаю, как брата. Поссорили нас англичане. И что ему, скажите, делать при своей армии? Его дело царствовать, а не воевать. Мое дело другое: я – солдат, это мое ремесло. Да и войска у него вдвое меньше. Как же ему защитить от меня на всем протяжении границу своего обширного царства?

Говорит он так, говорит, а сам ходит из угла в угол, точно покою себе не находит. Однако позвал Балашова обедать. А за обедом о Москве речь завел, точно и Москве от него уж не уйти.

– Деревня ведь это, – говорит, – большая деревня! И на что у вас там столько церквей? В нашем веке набожных людей уже нет.

До чего ведь договорился! Гордыня обуяла. А Балашову, православному человеку, за великую обиду показалось.

– Не знаю, – говорит, – ваше величество, как у вас во Франции; там, может, страху Божьего уже не стало; у нас на Руси Богу еще молятся.

Отбрил чище бритвы! Однако же ни к чему; отпустили его ни с чем.

Июля 20. Пока Багратион да Платов задерживают Наполеона, Барклай-де-Толли все вспять да вспять, а ныне вот и наш Смоленск своей первой армией наводнил. В хижинку к нам на постой тоже 10 человек с фельдфебелем поставлено. Для других 10-ти человек, с офицером, поручиком Шмелевым, Толбухины свой надворный флигель отвели.



Под Островной близ Витебска завязалось, говорят, уже жаркое дело. Наши лейб-гусары и драгуны дрались с авангардом неприятеля, дрались храбро, отчаянно, а в конце концов, сказать зазорно, были все же разбиты, потеряли даже б пушек... Да, воевать и впрямь, видно, ремесло Наполеона, сего Аттилы XIX века!

А промеж Барклая и Багратиона вдобавок, слышь, еще нелады идут...

Июля 21. Слава Богу, помирились. Багратион для сего сам сюда в Смоленск прибыл. Мы с Петей выжидали его выхода у губернаторского дома. Оба главнокомандующие вместе рука об руку на крыльцо вышли. Тут Багратион окинул нас, зевая, огненным взглядом.

– Завтра, значит – говорит Барклаю – опять свидимся.

Вскочил в коляску и укатил – только пыль взвилась.

– Этот-то не выдаст! – говорили кругом. – И нос крючком, как у орла, и взор орлиный – прямой орел!

Июля 22. За ночь и Багратионова армия подошла. У Барклая тоже словно крылья выросли.

«Ни при каких обстоятельствах не отступлю уже от Смоленска» – собственные слова его. Дай-то Бог!



По случаю тезоименитства императрицы-матери с утра со всех колоколен колокола гудят. А после обедни народное гулянье, на площадях полковая музыка гремит, по улицам солдаты ходят, песнями заливаются. Точно войны и не бывало, Наполеона ни у кого и в помине нет.

Июля 25. А поручик-то Шмелев у Толбухиных уже свой человек: у них столуется, с Варварой Аристарховной по саду разгуливает. Пускай! Мне что? А все же, признаться, ретивое нет-нет да и заност...

Июля 31. Что-то у них будто налаживается. По часам все вместе: то книжку он ей читает, то горячо спорят, потом опять смеются. А ввечеру, слышу, на фортепьянах забренчали (с болезни Аристарха Петровича впервые, ибо со вчерашнего ему намного легче). Поручик романс поет:

Стонет сизый голубочек,
Стонет он и день и ночь:
Его миленький дружок
Улетел далеко прочь.

Пропел куплет – и умолк. Неспроста!

Августа 2. Так и чуял: обручились! Прибегает Петя:

– А знаешь ли, – говорит, – что я подглядел?

– Ну?

– Только по секрету, Андрюша!

– Да в чем дело-то?

– Варенька с Дмитрием Кириллычем кольцами обменялись. Папенька и маменька ничего еще не знают. Так и ты пока молчи.

– Хорошо, – говорю, – хорошо...

А у самого в груди точно что порвалось.

Ну что ж, дай им Господи! Жених как жених, все же гвардии поручик; раз – и до генерала дослужится. А я что? Недоучка, балбес, мизинца его не стою.

Августа 3. Зашевелились французы: у архиерейского двора – всего 7 верст отсюда – перестрелка с авангардом. Не нынче завтра подойдут и к Смоленску. Жителям предложено выбираться подобру-поздорову. По улицам возы потянулись. И Толбухины решились-таки в деревню перебраться; на дворе возы нагружают. Сами поутру двинутся. Боятся только, как-то еще Аристарх Петрович переезд выдержит.

Августа 4. Уехали и маменьку мою с собой забрали. Упиралась спервоначалу:

– Как, мол, я Андрюшу моего одного здесь на погибель оставлю?

Варвара Аристарховна успокаивает:

– Да с чего ему погибать-то? Будь он еще военный. Ничего ему не сделают.

– А присмотреть в доме, – говорю, – все-таки кому-нибудь надо, чтобы не разграбили.

– Грабить-то у нас, пожалуй, нечего... – говорит маменька.

– Тем паче, значит. А взглянуть мне на этого Наполеона, маменька, куда как любопытно!

– Потом и нам про него расскажет, – говорит Варвара Аристарховна. – Кстати, Андрюша, ты ведь дневник пишешь?

– Пишу...

– Так все, смотри, описывай, что бы ни было: дашь потом прочитывать. Особенно же...

Тут она запнулась, покраснела и огляделась на маменьку.

– После скажу тебе.

И вот, когда другие в карету уже садились, она вдруг быстро ко мне подходит, а у самой щеки и уши так и горят.

– Тихоныч здесь хоть и остается, – говорит мне шепотом, – но надежда на старика плохая. Если б Дмитрию Кириллычу что понадобилось, так ты, Андрюша, пожалуйста, уж пригляди, постарайся...

– Постараюсь, – говорю.
– И дневник свой смотри не забывай.
И вот их уже нет!

А в гостиной на фортепьянах он опять бренчит, заунывно распевает «Стонет сизый голубочек...»

И слышать не могу! Пройдусь-ка по улице...

Глава третья

Смоленск в огне. Русские отступают

Августа 5.

Не медь ли в чреве Этны ржет
И, с серою кипя, клокочет?
Не ад ли тяжки узы рвет
И челюсти разинуть хочет?

Ломоносова муза пророческим оком словно предвидела наши здешние ужасы.

Вовремя же убрались Толбухины! И за маменьку трепетать уже нечего.

Началось еще вчера, скоро после их отъезда. Подходили французы сразу с трех сторон; думали город штурмом взять. Ан с крепостных стен им чугунную хлеб-соль поднесли; а генерал Раевский из ворот навстречу к ним вышел с батальным огнем да в штыки, за ров крепостной погнался, весь ров и гласис телами их усеял.

Но с вечера и за ночь подходили все новые полчища, весь Старый город до Днепра как кольцом обложили. Сыплются на них ядра и с городских-то батарей, и с того берега Днепра, куда стянулись наши главные силы. А они ломаются уже в Молоховские и Никольские ворота. Наполеону же не терпится, решил зажечь город – дома-то все больше ведь деревянные; и взвились над городом гранаты, лопаются в воздухе, и загорается то там то сям; ветром пламя с крыши на крышу переносит. Бывало, бежишь поглазеть на пожар, как на некое зрелище, а теперь, как кругом запылало, – не то: ад да и только.

Перекинуло и на нашу улицу. Люди мечутся, как угорелые, ревом ревут:

– Отцы наши, батюшки! Воды, воды!

А где ее взять? Пока еще до реки доберешься, от всего строения одни головешки останутся. И я спасать помогаю, схватил в охапку первое, что под руку попало. Тут кличет меня, слышу, Тихоныч:

– Андрей Степанович! Где ты? И у тебя ведь занялось.

С нами крестная сила! И то ведь на крыше у нас уже язычки огненные. А помогать мне, опричь старика Тихоныча, некому: солдаты-постояльцы все у городских стен, кровь свою за нас проливают. Вынесли мы образа, забрали кое-что из платья, посуды; захватил я и дневник свой; а огонь уже стены лижет, волоса мне на голове спалил... Не прошло и получаса времени, как домишка нашего как не бывало.

– Бог дал – Бог и взял! – утешает Тихоныч. – Буди Его святая воля! Прибежище у нас для тебя найдется. Дом каменный, крыша железная – огня не боится.

А погода весь день чудная, солнечная, на небе ни облачка. Жители же, крова последнего лишившись, бегут из города, бегут без оглядки, на ту сторону Днепра.

Поручик Шмелев домой только на минутку забежал, весь черный от порохового дыму.

– Что, Дмитрий Кириллыч, – говорит, – Бог миловал. Но раненых не счесть; доктора перевязывать не успевают.



– Но французы нас не одолевают? Еще держимся?

– Держимся крепко. В 8 часов ко всеобщей ударили.

– А завтра-то ведь великий праздник – Преображение Господне! – говорит Тихонич. – Весь дом свой господу мне препоручили; так отлучиться не смею. Иди же ты, милый, помолись за наших воинов: многим из них придется пить смертную чашу.

Бежали из города народу хоть и тысячи, но в собор стеклось еще многое множество, молились все истово, с плачем и воздыханием; а в крестном ходе вокруг собора с иконой чудотворной Смоленской Божией Матери и сам я тоже фонарь нес.

Только дописал, лечь собираюсь, как слышу Шмелева, зовет денщика:

– Собирай вещи, да живо, живо! Уходим.

Выскочил я к нему.

– Как уходите, Дмитрий Кириллыч? Сами давеча говорили, что держимся крепко?

Плюнул с досады.

– У ж не говорите! Все эта немчура проклятая...

– Кто? Барклай-де-Толли?

– Ну да. Главнокомандующий! Ну и слушайся его.

– Да ведь и Багратион – такой же главнокомандующий?

– Такой, да не такой. У каждого своя армия, но Барклай вдобавок и военный министр, так в бою у него решающий голос. А какой уж он боевой генерал! Чиновник, управлять войском умеет только на бумаге; отдал приказ – и дело, думает, в шляпе.

– Да не сам ли он уверял, что ни при каких обстоятельствах не отступит?

Не вытерпел тут и денщик:

– Осмелюсь доложить, ваше благородие, – говорит, – солдаты наши тоже уже ропшут, что все отступаем.

– Тебя не спрашивают! – строго заметил ему Шмелев. – Пошел вон!

– Слушаю-с.

И вышел вон.

– Простите, Дмитрий Кириллыч, – говорю я Шмелеву. – Но, уклоняясь от боя, Барклай и то ведь против государя и всего войска якобы изменник?

– Изменник он или не изменник, а малодушествует... По-своему он, пожалуй, даже и прав: армия Наполеонова вдвое нашей сильнее, а сам Наполеон в военном искусстве против него исполин.

– Но солдаты, вы слышите, уже ропшут...

– И мы, офицеры, ропщем, но – дисциплина. Приказано отступить – и отступаем. Генерал Дохтуров будет еще сдерживать их натиск, чтобы нам уйти в порядке и увезти с собой наших раненых. А чудотворный образ Богоматери Смоленской будет нам сопутствовать: батарейная рота полковника Глухова ее в свой зарядный ящик уложила...

Глава четвертая

Въезд Наполеона. Сержант и лейтенант

Августа 6. Не раздеваясь, спал как убитый. И то бы еще не проснулся, кабы не Тихоныч: растолкал меня.

– Вставай-ка, сударик, вставай! Французы сейчас быть должны. Наше войско все еще за Днепром; мост за собой разрушило; а уездный предводитель в карете к Никольским воротам поехал – ключи городские Бонапарту сдать.

– Уездный? – говорю. – А губернский-то что же?

– Тот с губернатором вчером еще, слышь, за город убрался. Быть худу! Быть худу! Чу! Музыка трубная, барабаны... В город, значит, уже победителями вступают. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!

Я же, нимало не ужаснувшись, с гвоздя картуз – и на улицу. Что с меня возьмут?

По пожарищу еще дымится, погорельцы бродят. А военные трубы и барабаны от Никольских ворот все ближе, ближе. Завернул за угол, а навстречу верхами трубачи-кирасиры в стальных латах, в шлемах с конскими хвостами. За трубачами на лихом аргамаке молодой генерал, высокий, статный, локоны по плечи, треуголка с золотым позументом, с плюмажем, плащ коротенький, зеленый, панталоны брусничные, чулки синие. По сторонам весело озирается: смотрите, мол, люди добрые, какой я хват! – После узнал, что был то Мюрат, король неаполитанский. За ним целый полк кирасир, такие же все чистенькие, нарядные, точно в огне не побывали, на парад собрались.

За кирасирами – гренадеры-великаны, молодец к молодцу, в мохнатых медвежьих шапках, а за ними на белоснежном коне сам Наполеон Бонапарт с генералитетом. Генералы в блестящих мундирах и шляпах, а он в простой лишь треуголочке, в сером сюртуке дорожном; ростом не вышел, но с брюшком. Зато собой красавец писанный, взор грозный, язвительный, осанка величавая, поистине цесарская.

«Не поклонюсь тебе, – думаю, – не жди!»

Но как глянул он в мою сторону – дух у меня заняло, картуз сам собой с головы сорвался; а он чуть-чуть только в ответ кивнул. С миром, значит, отпустил.

Тут уже всякие войска потянулись, и конца не видать.

Вернулся я домой не раньше, как всех мимо пропустил; а французы-то в доме, как у себя, хозяйничают. Тихоныч, из окна меня углядев, на крыльцо ко мне выскочил.

– И где это ты, – говорит, – пропадал, милага? Думал, что тебя и на свете уж нет. По комнатам, каторжные, рыщут, в барышнину спальню порывались. Да как бы не так! На ключ запер; но разговорных слов их не знаю. Объяснись с их набольшим, сделай милость, – полковник, что ли, или унтер – шут его знает!

Пошел я объясняться. Оказалось, сержант, по фамилии Мушерон, видный, бравый. Тоже обрадовался, что есть с кем столковаться.

– Э! – говорит, – Да вы понимаете хоть по-нашему. С этим старикашкой никакого толку не добьешься.

– Что вам, – говорю, – угодно?

– Мы к вам, мон шер, издалика в гости пришли; а гостей кормят и поят. Чем нас угостите?

Перевел я Тихонычу; он на дыбы.

– Доброй волей не дадим, – говорю, – так без спросу ведь возьмут. В кладовой да на леднике, верно, запасы еще найдутся?

– Как не найтись...

– А в погребе, слышал я, всегда вина имелись. С собой ведь в деревню всех не взяли?

– Ну нет, шалишь, – говорит, – вина дорогие, виноградные, заморские...

– То как раз, что им и нужно: привыкли у себя дома виноградным вином еду запивать.

Закряхтел мой старикашка, заохал, а делать нечего – сдался.

– Умываю, – говорит, – руце в неповинных.

Принес муки, круп разных, яиц, масла; потом и полдюжины бутылок. А сами гости тем часом на дворе и индюка изловили. Нашелся меж них и повар, развел под плитой огонь, давай орудовать. Долго ли, коротко ли пошел у них пир горой, крики, песни. В подпитии и меня к себе зовут, в маленького гражданина – пти буржуа – окрестили:

– Эй, пти буржуа! Иди-ка сюда, садись к нам.

Полный стакан подносят. Я отказываюсь: капли вина в рот никогда, мол, не брал. А они:

– Стыдись! Вон каким дылдой вырос, а вина еще не пробовал. Пей, сакр-Дие, коли налито! Не то ведь силой в глотку нальем.

Взял, пригубил.

– Ну, а теперь кричи: «Да здравствует император!».

Но я дерзновенно в ответ:

– За какого императора? За своего всероссийского? Извольте.

Как заорут тут все, затопают на меня! Но сержант Мушерон заступился:

– У него, братцы, пока что, еще свой император; неволить не годится.

Оставили меня за сим в покое. Сижу среди них, уши наострил: вино язык им верно развяжет; в вине правда – *in vino veritas* – говорили еще латынцы.

– Здесь в Смоленске и кампанию бы нам закончить, – молвил один. – Как из Пруссии вышли, чего-чего не натерпелись!

– Да, уж эти русские – подлинные варвары, – говорит другой, – и дома-то свои жгут, и запасы. Ни фуража, ни продовольствия. А мародерствовать начальство не позволяет: Даву скольких уже расстрелял.

– Оттого у него и дисциплина образцовая, – говорит сержант. – Из всех маршалов Даву как-никак все же первый. Недаром император ему и 1-й корпус вверил: люди отборные, в походах закаленные, у пирамид в Египте побывали.

Так перебрали они по пальцам всех своих маршалов: пасынка Наполеонова Евгения Богарне, Мюра-та неаполитанского, Жерома вестфальского... Тут один как расхохочется:

– Ну, уж эти вестфальцы!

– А что?



– Как казак-то с одним их лейтенантом разделался!

– На пику посадил?

– Хуже того.

– Чего уж хуже!

– Нагайкой отхлестал.

– Ври больше!

– От верного человека слышал.

– Да как же это быть могло?

– А так, что эти дьяволы-казаки на вестфальцев налетели. Те в каре и дали залп. Казаки как налетели, так и отлетели. Один только, как ни в чем не бывало, отъезжает шагом, трубочку себе еще набивает. Вот и загорелось молодому лейтенанту отличиться – захватить в плен казака. Поскакал за ним, саблею храбро этак машет. Казак же коня разом повернул да на вестфальца с пикой. Вестфалец саблей хватить – пика пополам. «Сдавайся!» кричит. Но казак мигом его обскакал, да и давай жарить плеткой, пока тот с седла замертво не скатился...

Сему анекдоту все весьма рассмеялись:

– Ай да казак!

Вестфальцы ведь те же немцы, а французы и немцы, известно, что кошка да собака, враги истонные.

Болтают так меж собой наши новые хозяева, как вдруг в дверях офицер:

– Это что еще за вольности? Сержант Мушерон! За Днепром кровь ручьями льется, а у вас здесь...

Мушерон навтыжку, честь отдает.

– А у нас, господин лейтенант, вино льется, только не ручьями, а ручейком: полдюжины всего из погреба на пробу взяли, подойдет ли для стола г-на лейтенанта?

Улыбнулся.

– Ну и что же?

– О! Марки преотменные: старого разлива бордо, лафит, икем. Жила преизобильная; порыться глубже, так забьет и шампанское.

– Хорошо; но то уже не про вас. А комната для меня приготовлена?

– Да вот здешний метрдотель от одной комнаты ключа ни за что не дает, а та комната, я чаю, как раз подошла бы г-ну лейтенанту.

– Чья же то комната?

– Молодой, говорит, барышни, хозяйской дочки.

– Взять у него ключ!

Шутить с ним, вижу, не приходится. Побежал за Тихонычем, отобрал у него ключ. Отпер. Не комната – игрушка.

– Премило, – говорит лейтенант.

На столе книжка. Подошел, раскрыл.

– «Поль и Виржини». Гм... Чиста еще, как ангел. Не станем же нарушать ее святилища. Заприте и ключ отдайте опять метрдотелю.

Сказал и вышел. Деликатность поистине французская! А я, грешный человек, был не столь деликатен: из книжки на пол бисерная закладка выпала; поднял ее и – в карман. Сама ведь, верно, вышила. Хоть что-нибудь от нее на память!

Глава пятая

Мосье Мулине на носилках. Во французском госпитале. Про подвиг графа Понятовского. Доктора: барон Ларрей и де ла Флиз. «Где стол был яств, там гроб стоит»

Августа 7. К трем часам утра неприятели сломанный на Днепре мост починили, а несколько верст выше другой мост еще наводят, дабы русскому арьергарду отрезать наступление. Издали слышна неумолчная пальба: идет, значит, упорный бой. А здешние наши постояльцы и ухом не ведут. Гвардия! Разыскал сержант Мушерон в погребе для своего лейтенанта и шампанское; тот приятелей офицеров зазвал; до глубокой ночи пировали. Нижние чины тоже устроились, как в мирном лагере: кто амуницию чинит, кто ружье чистит, кто чулок штопает; мухи, кажись, не обидят.

И вдруг – не сонное ли видение? Вносят раненого на носилках, и кого же? Толбухинского гувернера, мосье Мулине! Увидал меня – простирает руки.

– О, мой дорогой Андре! Вы-то еще здесь! А у меня бомбой оторвало ногу.

Отнесли беднягу во флигель, в прежнюю его комнату. Пришел тут к нему понаведаться и лейтенант-постоялец, рекомендует:

– Лейтенант д'Орвиль. Чем могу служить? Вы ведь тоже офицер великой армии?

А Мулине:

– Был таковым 12 лет назад. При Маренго, в чине корнета, ранен в грудь навывлет; из собственных рук императора – тогда еще первого консула – ордена Почетного легиона удостоился. О! Он умеет ценить заслуги. Но одно легкое у меня было прострелено: пришлось подать в отставку. Стал учительствовать... Надо же чем-нибудь прокормиться! Так гувернером и в Россию попал к достойному семейству...

– Но когда услышали теперь военные трубы обожаемого вашего императора, то не выдержали?..

– Да, помчался на призыв, как боевой конь. И вот – безногий инвалид! В госпитале перевязали; но я просил перенести меня сюда. Коли умирать, так в родном доме; а дом господ Толбухиных стал для меня все равно что родной.

Августа 8. Бедный мосье Мулине от адских мучений всю ночь глаз не сомкнул. Не жалуется, а тихонько только этак стонет. Вечеру еще посылали в госпиталь за доктором, чтобы снова перевязал рану. Обещал быть, да так и не прибыл: забыл, что ли.

«Дай-ка, – думаю, – напомним».

Пошел. Под госпиталь свой французы заняли дом губернатора; каменный он, так уцелел от огня.

Прихожу, спрашиваю хирурга.

– Да вам какого?

– А кто у вас главный?

– Главный – барон Ларрей, его величества генерал-штаб-доктор.

– Его-то мне и нужно. Проведите меня к нему.

– Простите, он на операции.

– Так я обожду.

– Да вы-то сами от кого?

– От раненого французского офицера.

– На частной квартире?

– На частной. Вчера его здесь уже перевязали; обещали прислать вечером хирурга, да вот не прислали.

– Прошу за мною.

Поднялись во второй этаж. Идем палатами.

– Обождите тут.

А кругом раненные лежат вповалку. У кого голова забинтована, кто без руки, кто без ноги, а кто и без обеих ног. И все-то больше молодой еще народ.

Одни молчат, временами только охают, стонут; другие разговор ведут. Громче всех, задорнее один – и по виду, и по говору не француз.

– Что, – говорит, – все ваши маршалы! Один наш Понятовский всех их стоит. Нации храбрее нашей нет. Сам Наполеон ваш это признает.

А французов за живое задело.

– Ну да! – говорят. – Ваша шляхта – известные хвастуны. Чем вы в этой кампании отличились, ну-ка?

– Да хоть бы и тем, что пока вы на Немане понтонные мосты наводили, наша кавалерия уже вплавь пустилась.

– И без всякой нужды перетопила сорок человек!

– Что ж такое? Зато император нас как расхвалил! А здесь, под Смоленском, он нас же первыми в атаку послал: «Поляки! Этот город принадлежит вам!»

Что дальше говорилось – я уже не слышал: меня провели в уборную, куда барон Ларрей должен был выйти после операции – руки мыть.

Наконец-то операция кончена. Входит сам Ларрей, седой уже, преважный, в генеральских эполетах, но в белом фартуке, с засученными рукавами. Фартук весь кровью забрызган, руки в крови.

Фельдшер вослед бежит, воду на руки ему наливает. А барон про себя брюзжит, ругательски ругается:

– Уж это анафемское интендантство! Черт бы его подрал! Ни бинтов, ни полотенец, ни корпии... Справляйся, как знаешь! Ни в итальянскую кампанию, ни в австрийскую ничего подобного не было.

– Смею доложить г-ну барону, – говорит фельдшер, – ни в Италии, ни в Австрии жители своих городов не жгли.

– И мы гранатами их домов не поджигали!

– Точно так. Но Россия – страна варварская. И хлеба не допросишься. Хоть бы тут, в Смоленске. Большой ведь город, и лавки есть еще не сожженные, да с чем? С железным товаром, с посудой, хомутами и дегтем; а булочные заколочены, мясные пусты...

– Ну вот, ну вот! Что же я говорю? Прежде чем воевать, надо изучить страну, принять меры. Так нет же, ради военной своей славы, опустошаем целый край, разоряем тысячи людей, ни в чем не повинных, свое собственное войско заставляем голодать да требуем от него еще геройских подвигов...

Тут только он заметил меня.

– Вы кто такой? Как сюда попали?

Я объяснил.

– Гм... Самому мне уйти никак невозможно...

– Не позвать ли мне г-на де ла Флиза? – говорит фельдшер.

– Позовите.

И так-то вот помощник Ларрея, доктор де ла Флиз пошел со мной.

Как обмыл он мосье Мулине рану, перевязал – я за ним в переднюю.

– Что, г-н доктор, не очень опасно?

– Ни за какую ампутацию, – говорит, – отвечать врач не может, особенно когда рана запущена.

А кто же запустил?

Августа 9. Полночи у нашего больного просидел Тихоныч; в 5 часов утра я его сменил. Сперва бедный метался, бредил; потом крепко заснул. Проснулся уже в 10-м часу, когда навещать его пришел лейтенант д'Орвиль.

– Ну что, дорогой мой, – говорит лейтенант, – как себя чувствуете?

А Мулине:

– Не во мне уж дело. Буде и выживу, то останусь все-таки навек инвалидом: моя песня спета. А что, скажите, русские все еще отступают?

– Отступают, но отбиваются. Вчера была опять отчаянная схватка: из строя у нас выбыло 6.000...

– А здесь при штурме города 12.000!

– Да, потери крупные. Император после вчерашнего боя сам нарочно на место выезжал и вернулся крайне разгневанный: Жюно опоздал подать помощь Нею, а опоздал потому, что в болоте завяз.

– Сказать между нами, г-н лейтенант, боюсь я за нашу французскую армию, сильно боюсь. Император наш не считается с здешним климатом, с здешними дорогами. Наступит осень, польют дожди – дороги, и так уже плохие, станут непроходимыми; а там снег, лютые морозы...

– Ну, с этими дикарями мы справимся еще до морозов. Армия у нас громадная – 650.000 при 200.000 конях и 1.300 орудиях...

– Но на такую громаду и запасы нужны громадные; а ни провианта, ни фуража уже не хватает?

– Так-то так...

– Барклай-де-Толли – лукавый немец, нарочно привлекает императора в глубь страны, это может окончиться весьма печально!

– Да не самому же императору, великому Наполеону, первому предлагать мир! Бертье и то уже советовал ему начать переговоры.

– А он что же?

– Я не прочь, говорит, помириться. Но для заключения мира мало одного, нужны двое. Теперь же, когда во всех русских газетах напечатано воззвание царя к своему народу – он покоя себе уже не находит; клянет и турецкого султана, что помирился с царем, и короля шведского Бернадота, что вступил с ним в союз: «О, глупцы, глупцы! Они дорого поплатятся за это!»

А я слушаю обоих да на ус себе мотаю: «А ведь Барклай-то, пожалуй, и взаправду готовит им ловушку! Недаром говорится, что немец обезьяну выдумал».

Августа 10.

Где стол был яств, там гроб стоит,
Где пиршеств раздавались лики,
Надгробные там воют клики,
И бледна смерть на всех глядит...

Бедный, бедный мосье Мулине! Вчера вечером еще доктор де ла Флиз вышел от него хмурый-прехмурый. «Плохо!» – думаю. А к утру аминь: антонов огонь! В столовой, на том самом столе, за которым земляки его намеренно пировали, лежал он в гробу, с своим орденом Почетного легиона на груди, весь в цветах: мы с Тихонычем опустошили для него весь цветник в саду. А лейтенант д'Орвиль еще полковую музыку привел, чтобы и до могилы проводить его со всеми «онерами». Да будет легка тебе земля, милый человек!

Глава шестая

На походе. Шевардинский редут. Воззвание Наполеона

На привале, августа 13. Вот где довелось за дневник опять приняться! Хотя и сон клонит, устал шибко, а надо ж самое главное занести.

Приходит ко мне третьего дня Мушерон.

– Ну, пти буржуа, собирайся-ка в путь-дорогу.

– Куда? – говорю.

– В Москву.

– В Москву! Вы шутите, г-н сержант.

– Какие уж шутки! Вся гвардия с самим императором сейчас выступает. А тебя лейтенант берет с собой переводчиком.

Вот не думал, не гадал – в Москву попасть, в наш град первопрестольный! Вожделенный случай, о коем мечтал и денно и ночью. Кабы маменька-то про то знала-ведала! Да доберемся ли еще? Нет, русские не отдадут Москвы-матушки! И куда занесет еще меня театр войны? Быть может, приближаюсь к воротам смертным... Но, пока что взираю на все равнодушно. Не ратный ведь человек; так что может со мною приключиться?

А этакий поход – дело, ох куда нелегкое! С раннего утра до позднего вечера все вперед да вперед. Днем жарыща нестерпимая.

– Та же Италия! – жалуются французы. – Хуже Италии – пекло адское!

От пехоты да от конских копыт пыль облаком, глаза ест, в нос и глотку забивается. А тебя, без вкушения хлеба и воды, все вперед гонят:

– Марше! марше!

Попадается речка, ручеек; промочил бы горло, ан нет:

– Чего стал? Марше!

Наконец-то привал – слава Тебе, Господи! Уляжешься в лесу у костра; да леса-то все сосновые, болотистые, комариное царство: жужжат проклятые, как рой пчелиный, кусаются что собаки.

...Не дописал, как Мушерон тетрадь из-под рук вырвал:

– Это что у тебя?

– Дневник.

– Эге! Г-н лейтенант!

Подошел д'Орвиль:

– А что?

– Не угодно ли поглядеть: наш пти буржуа дневник ведет. Не шпионом ли уж к нам при-
ставлен?

Рассмеялся тот:

– Да не сами ли мы его с собой забрали? И что он в нашем военном деле смыслит?

– Так пускай вам прочитает что сейчас написал.

– Извольте, – говорю, – по-русски прочитать или перевести?

– Само собой, перевести.

Перевел я им страницу, другую.

– Ну что Мушерон? – говорит лейтенант. – Похоже на донос шпиона?

– А вот пускай-ка с первой страницы прочитает.

Начал я с первой страницы про то, как мосье Мулине совет мне дает дневник писать, дабы облегчить сердце. Как они оба расхохочутся!

– Пишите себе, пишите, молодой человек, – говорит лейтенант, – облегчайте свое сердце.

Августа 17. Мы уже под Вязьмой. На каждом верстовом столбе цифры читаем: далеко ли еще до Москвы? Нас, гвардию свою, Наполеон бережет, не пускает нас в огонь. Но авангарду тяжело приходится: дорога наша устлана мертвыми телами, а Дорогобуж, Вязьма и все деревушки выжжены дотла. По-прежнему, пуще прежнего нас голод-жажда пронимает. От каждого полка фуражиры по окрестностям рыщут, но возвращаются редко с чем: жители везде разбежались, а запасы сожгли или с собой унесли. Картофель-то хоть не снят еще с полей; так солдаты им ранцы свои набивают, а потом на кострах пекут да с палой кониной уплетают. И я тоже – в татарина обратился! Но мясо препротивное: жестко и жилисто. Только сердце да печенка мягче и вкуснее. Да нам-то редко когда перепадает: для офицеров отбирают.

Августа 20. Вот мы и в Гжатске. Живое кладбище! Подобрали здесь одного русского тяжелораненого. Стали его чрез меня расспрашивать, выведывать.

А он:

– Прибыл Кутузов – бить вас, французов...

– Как? Что? Князь Кутузов, сподвижник Суворова?

– Он самый: сменил немца Барклая. До Москвы еще расправится с вами по-суворовски.

Озадачились, призадумались. До Москвы-то ведь еще 147 верст; задержать сколько раз может!

Августа 24. По сказанному как по писаному: Кутузов остановился, загородил нам – сирень французской армии – путь к Москве. Отделяют нас от русских глубокие овраги. За оврагами в долине и кругом на высотах вся русская армия.

Вдали налево белеет сельская церковь: то – село Бородино, занятое тоже русскими. Направо – село Шевардино; перед ним русскими же «редут» возведен – крепостца со рвом и валом, а на валу – пушки.

На душе у французов и радостно, и жутко: бранят Кутузова.

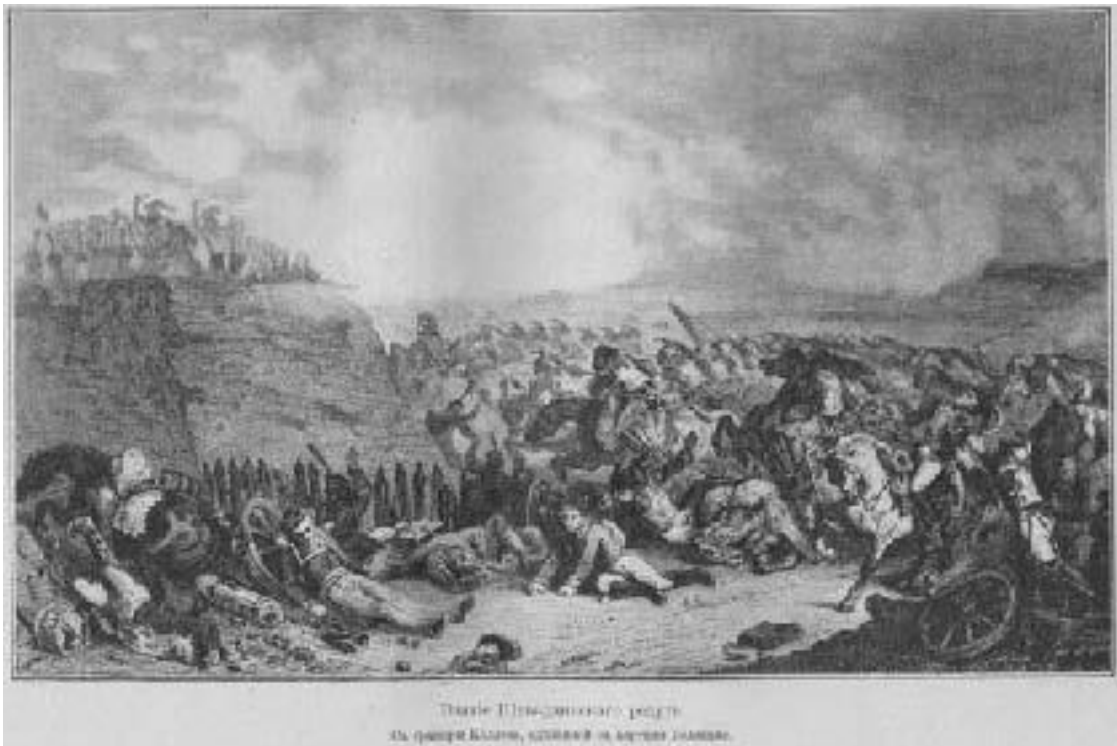
– Ишь, чертов кум, какую позицию выбрал!

Сам Наполеон не раз на холм выезжал – в зрительную трубу обозреть будущее поле сражения; потом в палатке у себя на карте обозначал расположение своих и русских войск булавами с разноцветными головками.

...С вечера уже началось; но это, говорят, только генеральная проба. Дабы лучше выяснить силы русских, Наполеон двинул через овраг колонны пехоты на Шевардинский редут. Пущей храбрости ради напоил еще допьяна солдат. И точно, пошли те храбро с барабанным боем.



Да не тут-то было! Огорошили их с редута картечью, и побежали они вспять. Первый блин да комом. Решили взять редут во что бы то ни стало. Идет целый полк, потом другой, потом еще удалцы-поляки, и все тоже: бегут назад! А за бегущими вдогонку русские кирасиры; ворвались в польский лагерь и увезли семь орудий. То-то, чай, осерчал Понятовский! Про Наполеона и говорить нечего.



Стемнело. Но оставить дела так нельзя. Новый штурм. И вдруг – что за притча? Ни единого выстрела. Влезают на редут – ни души. Русские в темноте его очистили! Точно в насмешку: на тебе, небоже, что нам уже не гоже.

Августа 25. Сегодня погода хмурится. Прохладно. Порой моросит. Дабы подбодрить мерзнующих, велено всем полкам раздавать водку. Но на всех не хватило: обозы некоторых полков где-то застряли.



Сражения нынче, кажись, еще не будет. Была только с утра слабая перестрелка. А теперь в обоих лагерях зловещая тишина – тишина перед бурей. Но и там, и здесь готовятся к бою: роют окопы, возводят редуты, устанавливают орудия... Вчуже дрожь пробирает!

Вот из русского лагеря доносится молебное пение.

«Что бы это значило?» – дивятся французы. Невдомек им, что люди православные перед боем к Богу молитву воссылают. Тогда лишь поняли, когда адъютант с холма прискакал с докладом, что у «неприятеля» по всему лагерю, от полка к полку, попы шествуют с хоругвями и иконой, перед коей солдаты, сняв кивера, ниц падают. Не иначе, как наша же Смоленская икона Божьей Матери. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его!



А тут, у французов, вместо того сбор бьют, перед каждым полком читают воззвание Наполеона:

«Солдаты! Сражение близко, которого вы столь желали. Победа зависит от вас самих. Она даст вам изобилие, хорошие зимние квартиры и скорое возвращение на родину. Отличитесь же и здесь, как отличились при Аустерлице, при Фридланде, Витебске, Смоленске, – и самое отдаленное потомство будет говорить еще о ваших подвигах. Да скажут о каждом из вас: “и он был тоже в великой битве под стенами Москвы!”»

После сего воззвания все кругом вострепнулись, возликовали. По всему лагерю музыка, песни. Только и слышишь:

– Да здравствует император!

А у меня сердце захолонуло: что-то будет?.. Неужто в самом деле?.. Додумать не смею...

Глава седьмая

«Солнце Аустерлица» в пороховом дыму. Нога лейтенанта д'Орвиля и рука солдата. Лошадь д'Орвилл и палец маркизантки. «Что за день! Что за день!»

Можайск, августа 28. Третий день ведь уж от великой баталии под Бородиным, коей равной по кровопролитию, говорит лейтенант д'Орвиль, не запомнят в истории ни в древней, ни в новой – а теперь лишь улучил минутку взяться за дневник. Русские опять ретируются, но в полном порядке, по собственной же охоте. Похвалиться их разгромом Наполеон отнюдь не может. Благодарение и хвала Создателю во святой Троице!

Опишу за сим по ряду все, как что было.

В ночь на 26-е число сеял мелкий дождик, а к утру поднялся очень густой туман, что русского лагеря по ту сторону оврага точно и не бывало. В пять часов утра Наполеон сел уже на коня и стал объезжать свои войска, полк за полком. Когда же подъехал к своей гвардии, которая, великого дня ради, разоделась как на парад, туман внезапно рассеялся, и солнце показалось во всем своем блеске. И указал он на солнце и воскликнул:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.